[15] Hymnus ad Demetrem. 269.
[16] *Hesiod.* 187, Gottling.
[17] Пракситель — знаменитый скульптор (IV в.) (примеч. пер.).
[18] *Epiktet.* Encheiridion. V. 36.

ОБ АВТОРЕ

М. С. Кошкарян

Жанна Херш — известный на Западе философ, литератор, публицист, общественный деятель. Родилась в 1910 г. в Женеве. Изучала литературу и философию в университетах Женевы, Парижа (Сорбонна), Гейдельберга и Фрейбурга-в-Брейсгау. (Во Фрейбурге в 1933 г. слушала лекции М. Хайдеггера). С 1946 г. Ж. Херш — доктор филологии (тема диссертации «Бытие и форма»). В 1956—1977 гг. — профессор философии в Женевском университете. Преподавала также в университетах Пенсильвании, Нью-Йорка, Квебека и др. С 1966 по 1968 г. была директором департамента философии ЮНЕСКО в Париже. В настоящее время является членом Швейцарского общества писателей, а также совета Международного института прав человека.

Основные труды по философии: Философская иллюзия (Париж, 1936); Бытие и форма (Невшатель, 1946); Идеологии и реальность: Опыт политической ориентации (Париж, 1956); Философское удивление. Взгляд на историю мысли (Мюнхен; Цюрих, 1981).

Литературные труды: Шагал — в нескольких полотнах (Время в искусстве, 1967); Тексты (Фрибург, 1985).

Автобиографические заметки: Пролить свет на неизвестное (Лозанна, 1986).

Публицистика: Антитезы. Враг — это нигилизм (Женева, 1981); Право быть человеком (Париж, 1968).

Перевод с французского нижеследующей статьи выполнен мною по изданию: *Hersch J.* Les enjeux du debat autuor de Heidegger // Commentaire. 1988. Vol. 11, num. 42. P. 474—481.

Это первая публикация Ж. Херш на русском языке.

СТАВКА В СПОРЕ О ХАЙДЕГГЕРЕ

Жанна Херш

С момента публикации в 1927 г. работы «Бытие и время» творчество М. Хайдеггера пользовалось в Германии и особенно во Франции таким успехом, что могло бы служить индикатором при анализе ду-

© М. С. Кошкарян, 1993
© Жанна Херш, 1988
© М. С. Кошкарян, перевод, 1993

ховной, интеллектуальной, эмоциональной ситуации нашего века. Успех этот тем более примечателен, что «Бытие и время» в действительности — произведение незавершенное, а тексты, опубликованные позднее, всего лишь небольшие брошюры. К тому же было установлено, что первые восторженные комментарии во Франции предшествовали переводам, и можно сомневаться, владели ли некоторые из авторов этих комментариев немецким языком в достаточной мере, чтобы прочесть оригинал.

Известно, что в конце апреля 1933 г. Мартин Хайдеггер был назначен первым ректором при новом гитлеровском режиме в университете Фрейбурга-в-Брейсгау; одновременно он стал членом национал-социалистической партии и оставался им вплоть до 1945 г., регулярно платя членские взносы. С должности ректора Хайдеггер ушел в отставку примерно через год. После поражения Германии он на несколько лет был лишен кафедры; тем не менее он по-прежнему мог работать, писать, издаваться, выступать с публичными лекциями в Германии и за ее пределами.

Его слава, его влияние не понесли никакого урона. Любой из почитателей Хайдеггера на свой лад приноравливался к его прошлому. Одни хотели бы видеть здесь кратковременное заблуждение, не имевшее вдобавок существенного значения; другие сводили это прошлое к простому приспособленчеству, проявленному миллионами немцев. Третьи полностью отделили действия, слова, поведение Хайдеггера в этот период от его мысли, его философских трудов. Так, например, Жан Валь отказался выступить в Серизи-ля-Саль по той причине, что после окончания войны туда был приглашен Хайдеггер, но продолжал посвящать ему многочисленные курсы лекций в Сорбонне. Обычным делом было встретить у французских авторов, когда шла речь о Хайдеггере, выражения типа «величайший из современных философов» или даже «один из величайших философов всех времен». Исследованиям же, посвященным ему, поистине нет числа.

В этой атмосфере во Франции увидела свет книга В. Фариаса «Хайдеггер и нацизм», для которой в Германии не нашлось издателя. Фариас проделал труд историка, а не философа; попытки его дискредитировать последовали незамедлительно. Так, например, многократно указывалось, что автор книги путает Заксенхаузен, квартал на окраине Франкфурта, и концентрационный лагерь под тем же названием, хотя это смешение, надо сказать, ровным счетом ничего не меняет в существе дела. На общем фоне обширного материала и информации, содержащихся в книге, подобная ошибка представляется мне простительной; сам же факт, что на нее указывали и подчеркивали ее с такой настойчивостью, говорит гораздо более в пользу достоверности исследования, нежели против нее.

В своих поисках Фариас сталкивается с большими трудностями, поскольку наиболее важные источники по-прежнему ревниво охраняются, оставаясь недоступными. Слабость аргументации порой объясняется тем, что во многих случаях, не имея доступа к непосредственным источникам, Фариас вынужден был прибегать к косвенным свидетельствам, как-то: соседство статей в том или ином

журнале, участие в той или иной культурной инициативе совместно с деятелями откровенно фашистского толка. Было бы несправедливо говорить в данной связи об «амальгаме», как это часто делалось. Однако книга выиграла бы в основательности, если бы из нее были устранены некоторые «доказательства», свидетельствующие в лучшем случае о ситуации или общей атмосфере.

Будучи студенткой, я провела летний семестр 1933 г. во Фрейбурге при ректорстве Хайдеггера и могу подтвердить, что книга Фариаса (в том, что касается лично мной виденного и слышанного) точна и осмотрительна, во всяком случае гораздо более точна, чем, например, статья Федье (Le Debat. 1988. Янв.-февр.), в которой автор прямо обвиняет Фариаса в фальсификации.

Наиболее слабая часть книги Фираса — та, где он пытается объяснить уход Хайдеггера с должности ректора поражением группировки внутри национал-социализма, на стороне которой были его симпатии: штурмовых отрядов и Рёма. Я думаю, что отставка Хайдеггера объясняется совсем иными причинами, и постараюсь это доказать в ходе дальнейшего изложения.

ПОПЫТКА ОТСТУПЛЕНИЯ

Тому факту, что книга Фариаса в среде парижских философов и интеллектуалов произвела «эффект разорвавшейся бомбы», может быть лишь одно объяснение: в течение не одного десятилетия те, кто курил фимиам Хайдеггеру, силились повернуть совершившееся вспять. Ведь в самом деле нацистская ориентация Хайдеггера не требовала доказательств. Она была известна и очевидна. Особенно ярко она проявилась в период его пребывания в должности ректора, в лекциях и выступлениях той поры. В моих автобиографических беседах «Пролить свет на неизвестное» (L'Age d'Homme. 1986), я, в частности, рассказала, как Хайдеггер, комментируя в одной из лекций «понятие знания у греков», показывал, на какой уровень банальности оно было низведено по той причине, что западная традиция оторвала его теоретический смысл от практического значения, и так вплоть до ночи с 27 на 28 января (дата прихода к власти Гитлера). С указанного дня, настойчиво уверял Хайдеггер, понятие это начало мало-помалу вновь обретать свою глубину; преподаватели, жаловавшиеся на введение при новом режиме обязательного еженедельного предмета, Wehrsport (обязательный «оборонный спорт»), тем самым де обнаруживали, что они еще ничего не поняли в происходящей революции; затем следовало пространное апологетическое рассуждение об «оборонном спорте».

Поскольку нацизм Хайдеггера был очевиден, завязавшийся спор мог идти лишь о продолжительности, интенсивности и природе нацистской ориентации философа. Например: что лежало в ее основе, соглашательство или убеждение? Авторы, защищающие Хайдеггера, похоже, предпочитают объяснять его принадлежность национал-социализму соглашательством, иными словами, трусостью, находя эту последнюю более почетной, нежели убеждение, проистекающее

из ошибки; подобную шкалу ценностей можно было бы оспорить. Либо они задаются вопросом по поводу молчания, которое философ хранил с 1945 г., и усматривают здесь ошибку более серьезную, чем его вступление в нацистскую партию в 1933 г., как если бы было бесспорным, что такое молчание после поражения и краха режима есть нечто более презренное, нежели пошлость запоздалых извинений. Наконец, они спрашивают себя, был или не был Хайдеггер как нацист антисемитом. Отвечают они на это отрицательно, доказывая, что в данном отношении Хайдеггер, будучи ректором, свел к неизбежному минимуму меры, предписываемые режимом. Я полагаю, что здесь они в общем правы: Хайдеггер не был антисемитом в том смысле, в каком не антисемиты многие люди нееврейского происхождения, которые в то же время не являются и антиантисемитами. Так, Хайдеггер не был настолько антиантисемитом, чтобы видеть в антисемитизме национал-социализма препятствие своему союзу с нацизмом; далее, он не был настолько антиантисемитом, чтобы это ему мешало в разгар преследований добавлять слово еврей к имени того или иного коллеги, которому он хотел повредить.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕБАТЫ

Книга Фариаса послужила толчком к появлению в массовой печати огромного числа публикаций и дискуссий. Спор был, в сущности, очень жарким, но при этом довольно плоским, с заурядной постановкой проблем и дал мало информации в сравнении с тем, что было опубликовано ранее. Обсуждавшиеся вопросы были слишком просты и поверхностны. На мой взгляд, они не давали возможности «оценить по достоинству» ни нацизм, ни Хайдеггера, ни историческую действительность, ни философию.

Нацизм чаще всего оказывался редуцированным к присущему ему антисемитизму и явившемуся следствием этого массовому уничтожению людей. Согласно этой логике, Хайдеггер, не будучи антисемитом, едва ли был нацистом. Однако единодушие и приверженность адептов режиму были совсем иного свойства, и подобная «редукция» исторического опыта вряд ли способна выработать у подрастающих поколений действенное сопротивление вариантам, которые история в будущем еще может изобрести.

Хайдеггер оказывается в роли либо философского идола, либо заурядного конформиста. Идола, которого не дозволено спрашивать о его действиях. Конформиста, погруженного в то самое анонимное «man», которое он не уставал изобличать.

Историческая действительность стерта, поскольку мысль Хайдеггера рассматривается как абсолютно обособленная от конкретной истории, во временном и пространственном вакууме, вне ее ангажированности.

Философия оказывается одновременно лишенной свойственного ей требования истины и соотнесенности с абсолютом. От философии не остается ничего — одно лишь магическое либо поэтическое упражнение, о котором можно судить только внешне, по его политическим последствиям.

У многих журналистов, принимавших участие в дебатах, создалось впечатление, что подлинные проблемы так и не были поставлены. Их статьи заканчиваются вопросительными знаками.

Для меня здесь вырисовываются прежде всего три проблемы, причем неодинаковые по значимости и масштабам.

Первая проблема касается *принятия нацизма философом Хайдеггером*: вот — главное. Если, как пишет Пьер Обанк («Еще раз о Хайдеггере и о нацизме»: Le Debat. 1988. Янв.-февр.), это «не был философский акт», если Хайдеггер примкнул к национал-социализму «как миллионы других», то тем хуже для него как для философа: в таком случае должны быть отнесены к «man» и сам он, и его философия. И если бы даже можно было сказать, ссылаясь, к примеру, на отсутствие у его антисемитизма агрессивности, что он не был «истинным наци», — это не спасло бы его от отождествления с «man». В нацистской Германии я не однажды сталкивалась лицом к лицу с членами партии или даже с ответственными государственными чиновниками: ни разу я не встретила «истинного нациста». Но я видела миллионы маршировавших по улицам. Именно так выглядело нацистское «man» — модель, к которой пытаются приравнять Хайдеггера.

Стало быть, нам следует, напротив, попытаться выявить, нет ли в философии Хайдеггера, или, если угодно, у Хайдеггера-философа, моментов, в которых коренилась бы его последующая приверженность национал-социализму: моментов достаточно сильных, способных в его глазах компенсировать определенное расхождение, отвращение, им испытываемое, — и, что особенно важно, достаточно сильных, чтобы вселить в него надежду на *профетическое будущее.* Он полагает, что исторический поворот, при котором, как ему казалось, он присутствует, мог дать ему власть над развитием истории и цивилизации, предоставить ему возможность решительных действий *против всего того, что он ненавидел* в современном мире.

Здесь мы подошли к существу дела. Действительно, в глубине хайдеггеровской философии мы находим эту — самую живую! — пружину его мысли, которой, как мне кажется (вопреки тому, что принято утверждать), является не завороженность бытием, но *презрение* ко всему тому, что не является этой завороженностью, обнаруживая тем самым свою скудость и бесплодность. Жгучее, страстное, одержимое презрение ко всему, что обычно, у среднего общепринято; к здравому смыслу, рациональности, к установлениям, нормам, праву, ко всему, что изобрели люди, в пространстве, в котором им надлежит жить вместе, чтобы примирить свои мысли и волю, укротить в себе природу дикаря, смягчить диктат силы. Следовательно, глобальное презрение к западной цивилизации, определившееся в трех направлениях: демократия, наука, техника, — ко всему, что, будучи порождено мыслью Просвещения, основывается на универсальном в декартовском смысле, присущем любому человеческому существу. *Все это пусто.* Демократия пуста. Но это и в самом деле так: демократия, где должен господствовать общий за-

кон, является нам «пустой» — без кредо, не навязывая содержания. Демократия обеспечивает каждому человеческому сознанию пространство, которое это сознание сможет, должно будет — в соответствии со своей свободой — наполнить собственной субстанцией. Но если сознания индивидов сами лишены субстанции, то нет ее и у демократии: свободное пространство оборачивается пустотой. В таких условиях эпоха переживается как поверхностная, бесцельная, лишенная насыщенности и глубины. Она *schallow,* оболочка.

Действительно, Германия 30-х годов воспринималась как *schallow* многими современниками, а не одним только Хайдеггером. Достаточно вспомнить о небольшой книжке, опубликованной Ясперсом под названием «Духовная ситуация эпохи». Он также подает сигнал тревоги перед «пустотой» эпохи, обнаруживающейся во всех областях. Но в противоположность Хайдеггеру далекий от того, чтобы замкнуться в презрении, он призывает всех индивидов в их экзистенциальной «ангажированности» перед лицом трансценденции найти вновь смысл, которым следует наполнить совместное бытие людей.

Хайдеггер станет черпать субстанцию в германской традиции в поэтике лесной чащобы, в направлении Валгаллы и Вагнера, возрождая через студенческую молодежь, которой он себя окружает, вместе с *Jugendbewegung* мотив крови и почвы *(Blut und Boden),* интимное понятие *Heimat* — Баденского герцогства, Шварцвальда, где человек открывает для себя или, скорее, где открывается человеку подчас прогалина, просвет, давая возможность внезапно проясниться непостижимому. Во имя этой культуры, самовластно объявленной наследницей греков, хайдеггеровское презрение бросает вызов разуму, поскольку тот универсален, развившимся на его основе науке и технике, бросает вызов «прогрессу» в области рациональности и эксперимента. Здесь враждебность, не знающая исключений, отказывающаяся принимать во внимание экзистенциальные стремления, которые у великих ученых служат стимулом научного исследования, или мыслить новые возможности, которые могут из него следовать.

Если принять во внимание эти моменты, это страстное презрение, уже не покажется удивительным, что национал-социализм представился Хайдеггеру шансом, который нельзя было упустить.

БЕЗМЕРНОЕ ПРИТЯЗАНИЕ

Надо ясно осознать, помимо всего прочего, что Хайдеггер примкнул к национал-социализму не как к некой готовой, завершенной доктрине, которую достаточно было принять либо отвергнуть. В силу того могучего, лирически и философски обосновываемого презрения, которое он испытывал к современной цивилизации в целом, к демократии и Веймарской республике в частности, в силу глубинных оснований, которые гитлеровское движение, националистическое, иррациональное, даризматическое и апокалиптическое, нашло в его собственной мысли, а самое главное, благодаря судимо-

му этим движением разрыву, перевороту Хайдеггер увидел в нем возможность, счастливый шанс для профетического философа, каковым он был, сыграть решающую роль в будущей ориентации истории и цивилизации. С его помощью немецкая философия возродила бы греческий мир и направила бы усилия человечества на тот единственный поиск, который стоит любых жертв, — поиск «бытия» через смысл смерти.

Тезис, который я здесь защищаю, будучи столь кратко сформулирован, возможно, выглядит преувеличением или даже отдает чем-то карикатурным. Однако, если прочесть Хайдеггера внимательно, можно повсюду обнаружить питаемую им *непомерную* амбицию, которую следует отнести не столько на счет его самого, сколько на счет философии, воплощением которой он себя видел: эти притязание быть «у истоков», «у абсолютного начала» или по меньшей мере «у возобновления» уникального движения, вызванного бытием именно вследствие этого «отступления», что, по Хайдеггеру, возвещало «поворот» мысли, действия, культуры в целом. Вот почему он презирает все происходящее. Вот почему он пытается свести на нет всю западную философскую традицию в целом с тем чтобы вновь начать с досократиков, от которых, к счастью, остались лишь фрагменты, относительно послушные его, Хайдеггера, интерпретации.

Надо также хорошенько понять, что это непомерное притязание отождествлялось им с *миссией*, в отношении которой ему предстояло выполнять роль средства. Я ни на минуту не допускаю мысли, что Хайдеггер преследовал всеми способами личные цели какого бы то ни было порядка. То был миссионерский финатизм, все преобразующий в онтологическо-поэтической перспективе. Так, национализм философа сплавляет воедино лес Бадена, немецкий язык с его этимологической насыщенностью, поэзию Гельдерлина, отзвуки ницшеанства. Слияние философии и поэзии — то, что есть в Хайдеггере, без сомнения, настоятельно толкает его к использованию харизматической речи.

Остается выяснить, не «упустил» ли Хайдеггер, слив в едином поиске философию и поэзию, в известном смысле и ту и другую. Ясперс в одном из своих замечаний на полях работы Хайдеггера отметил, что Хайдеггер не понял «поэзии философии» («Er verwiegert die Dichtung des Philosophierens») — «Он отрицает поэзию философствования»)[1]. Действительно, есть поэзия, присущая самому строгому философскому языку, лишенному прикрас, более всего сосредоточенному на мысли: языку, все усилия которого направлены на трудно достижимую ясность. Очевидно, самый чистый образец его мы находим у Канта. Хайдеггер был явно нечувствителен к этому. Он предпочитал прибегать — подчас, но не всегда, с замечательным эффектом — к метафорам собственно поэтического языка.

---

[1] *Jaspers K.* Notizen zu Martin Heidegger. M.; Piper, 1978. S. 153.

РАЗОЧАРОВАНИЕ В НЕМЕЦКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Возвращаясь к профетической возможности, которую Хайдеггер связывал с приходом национал-социалистов, хочу сказать, что, на мой взгляд, именно здесь следует искать объяснения последующих событий. Спустя примерно год после назначения его ректором Хайдеггер подает в отставку, однако не выходит из партии. Те, кто защищает его, видят в этой отставке конец кратковременного заблуждения. Хайдеггер, по их убеждению, распознал подлинную суть национал-соцализма и, как следствие этого, ушел с должности ректора. Тем не менее он не вышел из партии, поскольку такой акцией подверг бы себя ненужному риску. Я лично считаю эти два объяснения, цель которых — оправдать Хайдеггера, оскорбительными для философа: в результате первого вступление его в должность ректора выглядит глупостью, необдуманным поступком, второе сводит его пребывание в партии к малодушию, вдобавок длившемуся годы. Оба объяснения слишком заурядны, несоразмерны личности, о которой идет речь. Выше я пыталась объяснить причины вступления Хайдеггера в партию; та же харизматическая амбиция, но на сей раз потерпевшая поражение, служит объяснением его отставки. Если Хайдеггер был глубоко *разочарован*, то, думается, не национал-социализмом, а немецким университетом. Он понял, что университет не подчинится его великому начинанию, не позволит ему, даже облеченному полномочиями ректора, профетически вмешаться в историю нашей цивилизации, отвратив ее от рационального, дабы направить посредством гитлеровской революции к «бытию сущего». Отныне он понял, что, будучи ректором, он понапрасну теряет время. Вот один из моментов, подчеркиваемых Фариасом: многочисленные приглашения, которые Хайдеггер получал от университетов Берлина, Марбурга или Мюнхена, чаще всего были обусловлены поддержкой министров, а не факультетов. Что, между прочим, делает честь немецким университетам.

Итак, на мой взгляд, бесспорно, что, соглашаясь дать пришедшему к власти национал-социализму «поручительство» авторитетного ректора, Хайдеггер намеревался не столько *служить ему* сам, сколько *заставить его служить* своим глубинным замыслам. Уходя в отставку, он не отказался от этой идеи; он просто убедился, что с немецким университетом, таким, каким тот был, он в этом не преуспеет.

ВЕРНЫ ЛИ ОТСТАИВАЕМЫЕ ХАЙДЕГГЕРОМ ПОЛОЖЕНИЯ?

Между тем следует задаться вопросом, верны ли те несколько «тезисов», относительно легко определяемые в лекциях и печатных трудах Хайдеггера, которые послужили отправным моментом для его политического выбора. По крайней мере в отношении философии, обладавшей и продолжающей обладать таким влиянием, подобного вопроса, на мой взгляд, невозможно избежать.

1. Верно ли, что подлинный поиск бытия непременно должен быть *глобальным* и *прямым*? Действительно ли всякое *косвенное* или *частичное*, во всяком случае особое приближение, какое мы наблюдаем в науках, в присущих им *методах*, теряет тем самым подлинность или уходит от «истинного вопроса», чтобы в результате впасть в пошлость обезличенности и рациональности?

2. Верно ли, что подлинный поиск бытия требует от философа полного «освобождения» от европейской традиции, какой она предстает между досократиками и Хайдеггером, ввиду того что эта так называемая «метафизическая» традиция изначально «антионтологична», губительна для заботы о бытии? Верно ли, например, что Кант, утверждая феноменальный характер всего, что конституирует наше эмпирическое познание, снял «вопрос о бытии»? Верно ли, что Хайдеггер обладает в философии монополией на онтологическое таинство? И не было до него никого в «прогалине бытия»?..

3. Верно ли, что вопрошать о бытии возможно лишь на греческом или немецком языках, что означало бы, что любая мысль *непереводима* с этих языков на другие? Верно ли, что следует «дать себе говорить» немецким языком («быть говоримым» им), что если текст Декарта сохраняет свой смысл в переводе, то он тем самым подтверждает свою рационалистическую банальность, и что если «француз мыслит, то мыслит с необходимостью по-немецки»?

4. Верно ли, что избежать сведения к безличному «man» и обрести конкретную экзистенциальность возможно лишь путем презрительного отвержения разума, поскольку последний ищет универсальное и обусловливает развитие техники?

Здесь презрение заранее убивает всякое представление о тех возможностях, которые техника способна открыть перед человеком и которые не суть нечто только техническое.

Рискну сказать, что Хайдеггер силой своего презрения отбрасывает всю ситуацию человека в целом, в ее сложном — между конечностью и бесконечным — положении, с ее непрестанными скромными усилиями, исторически предпринимаемыми и в истории, в направлении к смерти и вопреки ей, — ситуацию человека, которая вызвала к жизни и утвердила на долгие века западную философию.

Так вот, эта философия постулирует на всем протяжении своего поиска требование ясности. И даже там, где ясность кажется невозможной, сама невозможность должна быть выявлена со всей ясностью. Необходимо знать, что говорится, и говорится ли что-либо. Но для этого надо примириться со специфичностью языков.

Возможно, имя не одного только Бога не должно произноситься всуе. Возможно, всуе не следует произносить и имя бытия.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ТАИНСТВО

Остается поэтическое таинство завораживающей силы философии Хайдеггера. В его навязчивом вопрошении, в его повторах совершается магия, утверждает себя воля к власти. Здесь есть поэзия, но не та, что свойственна самой поэзии или философии. Другая — близ-

кая абсолютному завораживанию, волшебству. Один студент-грек сказал как-то после лекции Хайдеггера: «Ему нечего сказать. Но что ему нечего сказать — это он говорит восхитительно». В то самое время как Хайдеггер был устремлен исключительно на бытие, Ясперс заметил у него «hubris нигилизма». На его лекциях и семинарах 1933 г., так же как во время коллоквиума в Серизи-ля-Саль в послевоенные годы, у меня неизменно складывалось одно и то же впечатление: он не любит истину. Разумеется, он ищет нечто, и нечто очень глубокое, но это не истина. Он прибегает к формулам-заклинаниям, словно хочет дать вырваться парам бытия из недр земли. Он повторяет эти формулы как во время литургии; он не выявляет глубину, он ее вызывает. Он не предлагает своей мысли другому, он его к ней принуждает, и это навязывание собственной мысли важнее, чем ее содержание. Другой при этом не знает, мыслит ли он, не знает, движется ли или топчется на месте. Во всем здесь есть нечто от религии, мистики, пафоса, психологии, теологии, но тотчас же автор уверяет нас, что ничего этого нет, что его неверно поняли. Безусловно, здесь есть колдовство — этого он не отрицает, — но есть и банальности, заключенные в устрашающей ригористичности языка. Способ философствования одновременно диктаторский и не знающий ответственности. И если Хайдеггеру случается комментировать выдающийся текст прошлого, он допускает натяжки, чтобы тот мог быть воспринят в угодном ему смысле.

ХАЙДЕГГЕР И ЯСПЕРС

После опубликования книги Фариаса разнообразие позиций, занятых в отношении Хайдеггера, было столь велико, что я не имела возможности ознакомиться со всеми. Тем не менее меня удивило, что ни в одной из вышедших статей, ни разу во время телевизионных дебатов не было ни малейшего упоминания о главном свидетельстве, которое нам предоставила посмертрая публикация на немецком языке «Заметок о Мартине Хайдеггере» («Notizen zu Martin Heidegger») Карла Ясперса. Ясперса связывала с Хайдеггером дружба, начавшаяся еще в 20-е годы. Свой значительный труд, «Философия»[2], Ясперс опубликовал пять лет спустя после выхода в свет книги «Бытие и время». Он говорил, писал, повторял, что Хайдеггер был единственным современным философом, который его действительно интересовал, единственным, с кем он желал бы поддерживать отношения подлинной «коммуникации», т. е. той радикальной философской дискуссии, без оговорок и оглядки, в которой как для самого философа, так и для его оппонента речь идет единственно лишь о поиске истины. До 1933 г. Хайдеггер, приезжая в Гейдельберг, останавливался у Ясперса. Их имена часто связывали — почвой была «философия экзистенции». Для обоих мыслители, которых Ясперс называет «двумя исключениями», Ницше и Киркегор, имели решающее значение.

---

[2] *Jaspers K.* Philosophie / Trad. J. Hersch. Springer, 1986.

Приход Гитлера к власти знаменовал для Ясперса начало черных времен. Он был глубоко привержен демократическим свободам, правовому государству; жена его была еврейкой. В 1937 г. он был лишен права преподавать по причине «нечистоты расы». Много раз он и его жена были на волоске от депортации. Все эти годы они прожили, держа под рукой яд.

Ясперс мучительно переживал причастность Хайдеггера к гитлеровскому режиму, вступление его в должность ректора. Тем не менее всю жизнь он надеялся, что когда-нибудь столь необходимый диспут во имя истины сможет состояться. И всю жизнь делал заметки, мысленно готовясь к этому диспуту или, если таковой все же не состоится, к работе над книгой, которую он хотел написать о Хайдеггере. До сих пор не было возможности опубликовать переписку между Ясперсом и Хайдеггером, которая, очевидно, представляла бы чрезвычайно большой интерес. Но вышли заметки Ясперса. Они заслуживают того, чтобы их прочли. Первые из них датируются 1928 г., последние — 1964-м. Ясперс не перестает ни нападать на Хайдеггера с позиций философии, ни одновременно защищать его. Он так и не смиряется с мыслью полностью потерять друга-философа. Искренность заметок, писавшихся им только для себя, делает этот мысленный спор особенно захватывающим.

Уже во время первых заметок, т. е. до гитлеризма, Ясперс чувствует основное расхождение между Хайдеггером и собой: так, Хайдеггер объективирует и абсолютизирует то, что может быть истинным лишь в условиях конкретной историчности. Под пером Ясперса тогда рождаются два определения: искусственность и насилие. Он признает силу, какой обладают у Хайдеггера понятия «man» и «бытие к смерти»; но он упрекает его в их абсолютизации. В последней заметке, сделанной до войны, говорится о «нигилистическом hybris» у Хайдеггера. Позже Ясперс многократно возвращается к тому, что ему кажется чуждым в Хайдеггере, а именно абсолютизация того, что является феноменологически описательным, с одной стороны, с другой — к способу философа говорить о «решении», «решимости», когда при этом не принимается никакого решения, когда никто не знает, во имя чего эта решимость; к способу обещать неминуемые откровения, которые, однако, не следуют; короче, я бы это сформулировала так: философствовать, не держа слова.

Свой небольшой очерк я хотела бы закончить цитированием последней заметки Ясперса о Хайдеггере: «Высоко в горах, на плоскогорье между скал во все времена встречались философы одной эпохи... Солнце и звезды там ярче, чем где-либо. Воздух так чист, что в нем растворяется все мглистое, так свеж, что ни один дымок не вьется, так прозрачен, что мысль устремляется в пространство, открытое бесконечности... Восхождение туда нетрудно. Перед тем, кто идет вверх по склону, открывается множество дорог; надо только, чтоб он решался не раз покидать свое пристанище, дабы обнаружить на этой высоте то, что подлинно *есть*. Философы там вступают в странную борьбу без насилия. Они во власти сил, которые борются между собой вопреки их мыслям, мыслям людей. Философы говорят, слушают, спрашивают, делят пространство, которое, невзи-

рая борьбу, их объединяет. Поскольку *ставка* для них — серьезность предметов самых существенных, какие только человек может затронуть. Это их они имеют в виду, все сообща. Но и расхождения их идут дальше, чем все ставки в материальных битвах, разворачивающихся в мире. И однако, самое высокое плато также находится в мире, оно чудо мира: люди там мыслью выходят за любые пределы, не падая при этом в пустоту.

Сегодня может сложиться впечатление, что там никого нет. И все же мне показалось — когда я, имея в виду вечные размышления, тщетно искал людей, которые бы их принимали со всей серьезностью, — что я нашел одного; кроме же него, никакого. Но этот единственный человек учтиво был мне врагом. Силы, которым мы служили, было не примирить. Вскоре стало ясно, что мы не могли бы говорить друг с другом. Радость сменилась горем, горем поразительно безутешным, словно была утрачена возможность, бывшая совсем рядом.

Так было для меня в случае с Хайдеггером. Поэтому критика, выпавшая на его долю,кажется мне совершенно непереносимой: она не на уровне тех высот. Я хотел бы выйти на путь критики, которая велась бы на самой территории духа, на путь борьбы, которая могла бы сломить некоммуникабельность взаимонепримиримых сил, путь солидарности, которая поддерживалась бы даже при обмене наиболее чуждыми мыслями, если речь действительно идет о философии.

Подобная критика, подобная борьба, очевидно, невозможна. И все же я хотел бы попытаться удержать хотя бы тень ее».

Я привела последний отрывок, поскольку в нем наряду со всем почитанием, положенным истинному философу Хайдеггеру, выражено то, что в этом же философе не перестает ускользать, изменять философии, соблазном и могуществом подменять истину. Это — не *подлинный философ.*

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В ПОНИМАНИИ СПИНОЗЫ. РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ДИСКУССИИ О ХАЙДЕГГЕРЕ

Вим Клевер

Вероятно, не будет излишним уделить немного нашего столь драгоценного времени размышлению о философском событии этого года — о возбуждении, вызванном обсуждением нацизма Хайдеггера. Поразительной была не столько новая информация, опубликованная Фариасом в его нашумевшей книге (почти все это уже было из-

© Вим Клевер, 1992
© П. П. Гайденко, перевод, 1993